

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

И

РЕДКОЛЛЕГИИ В СОСТАВЕ
С. Д. БАЛУХАТОГО, Е. Д. ЗОЗУЛИ
М. Е. КОЛЬЦОВА и Г. Б. САНДОМИРСКОГО

ТОМ VIII

*ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ „ОГОНЕК“
ЗА 1929 ГОД*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—1929—ЛЕНИНГРАД

ЧЕХОВ И КРЕСТЬЯНСТВО

I

А. П. Чехов совершенно справедливо считается типичным «певцом русского города», и если тем не менее деревня вообще, а крестьянство в частности занимают в его творчестве очень видное место, так это в конце концов объясняется тем обстоятельством, что наш автор изображал страну, находившуюся на таком этапе общественного развития, который как раз и характеризуется недостаточной дифференцированностью экономики. Когда-то Маркс говорил о Германии сороковых годов, что она страдает не только от развития капитализма, но и от недостаточности этого развития. Россия эпохи Чехова в основном точно характеризуется этими же именно словами. Чеховский город и чеховская деревня являются, как мы увидим ниже, до чрезвычайности верным и точным изображением подлинного города, подлинной деревни той эпохи, которая характеризуется, говоря словами Ленина, преобладанием «азиатских форм капитализма», — эпохи, когда методы «первоначального накопления» продолжают еще быть на первом плане. А в такие эпохи противоположность города и деревни еще не отчетлива, еще не резко выявлена.

Чтобы понять творчество А. П. Чехова в интересующем нас отношении, мы несколько остановимся на том анализе упомянутой выше эпохи, который был сделан самым выдающимся представителем тогдашней научно-марксистской мысли. «Подчинение преобладающего большинства производителей капиталу, — писал Ленин в 1894 году ¹, — до своего высшего, предельного развития проходит много ступеней... Начинается это подчинение торговым и ростовщическим капиталом, затем пере-

¹ «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве», Собр. соч., т. II.

ходит в индустриальный капитализм, который в свою очередь сначала является технически совершенно примитивным и ничем не отличается от старых систем производства, затем организует мануфактуру, которая все еще основывается на ручном труде, покоится на преобладающих кустарных промыслах, не нарушая связи наемного рабочего с землей, и завершает развитие крупной машинной индустрией. Только последняя, высшая стадия представляет кульминационную точку развития капитализма...» (*Курсив везде мой. Ис. Т.*).

На какой же ступени развития стоит Россия? Ленин отвечает: «Народники считают наш капитализм (т. е. крупную машинную индустрию. *Ис. Т.*) искусственным тепличным растением, потому что не понимают связи его со всей товарной организацией нашего общественного хозяйства, не видят корней его в нашем «народном производстве» (т. е. в крестьянском сельском хозяйстве и в кустарных промыслах. *Ис. Т.*). Покажите им эти связи и корни, покажите, что капитализм господствует в наименее развитой и потому в наихудшей форме и в народном производстве, — и вы докажете «неизбежность» русского капитализма (машинной индустрии. *Ис. Т.*). Покажите, что этот капитализм, повышая производительность труда и обобществляя его, развивает и выясняет ту классовую, социальную противоположность, которая повсюду сложилась в «народном производстве», — и вы докажете «законность» русского крупного капитализма». Далее читаем: «Одна из самых крупных ошибок народников состоит в том, что они не видят теснейшей и неразрывной связи между капиталистической организацией русского общественного хозяйства и полновластным господством в деревне торгового (и ростовщического. *Ис. Т.*) капитала; ведь «земледельческое (и кустарное. *Ис. Т.*) производство крестьян... служит постоянным объектом операций торгового и ростовщического капитала, отбирающего громадные доли продукта у преобладающей массы крестьянства».

Еще ярче следующая формулировка Ленина: «Народники забывают, что первичной формой капитала всегда и везде был капитал торговый, денежный, что капитал всегда берет технический процесс производства таким, каким

он его застаёт, и лишь впоследствии подвергает его техническому преобразованию. Они не видят поэтому, что, «отстаивая» современные земледельческие порядки от «грядущего» (?) капитализма, они отстаивают только средневековые формы капитала от натиска его новейших, чисто буржуазных форм.

Итак, мы имеем теперь исчерпывающий ответ на вопрос, что представляла собой Россия эпохи Чехова. Она была страной, в экономике которой, наряду «с пережитками крепостнических отношений» (отработки, кабальная аренда, рабочий с земельным наделом, и т. д., и т. п.) господствовали неразвитые, азиатские, средневековые, а потому особенно тяжелые для производителя формы капитализма, но эти формы уже стали подвергаться «натиску» со стороны более высоких, более чистых форм машиноиндустриального капитализма.

Каким же было, в частности, положение крестьянства? Каковы более конкретные черты его экономики?

Не от одного только помещичьего землевладения, — писал автор этих строк в другой работе ¹, — страдали крестьяне. Дореволюционное крестьянство, не будучи в состоянии существовать на доход с одного только земледелия, искало и должно было искать дополнительных заработков в кустарных промыслах, в домашней промышленности и пр. Но как раз в 70-х, 80-х, 90-х годах усиленно развивался русский капитализм: он разрушал кустарную промышленность, губил домашнее производство. Таким образом крестьяне неожиданно для себя встретили еще одного врага в лице крупной индустрии, которая разрушала подсобные для крестьянского хозяйства промыслы.

Но и этого мало. Русский капитализм дореволюционного времени согласно царской хозяйственной политике развивался на основе так называемого протекционизма, т. е. высоких таможенных пошлин, охранявших его от западно-европейской конкуренции. Крестьянство как массовый потребитель должно было на продуктах своего потребления переплачивать огромные суммы в пользу этого протекционистски построенного капитализма.

¹ И. А. Теодорович. Судьбы русского крестьянства, М. 1925 г., 4-е изд.

По исчислениям некоторых экономистов, за 30 лет (70-е—90-е годы) крестьяне переплатили не менее трех миллиардов рублей золотом на этом фронте.

Но мало того, что помещики и фабриканты отнимали у крестьянства его горький кусок хлеба, — у него находились все новые и новые враги.

Может быть именно к этому времени особенно подходила с виду такая простая, но чрезвычайно трагическая по своему смыслу русская поговорка: «Один с сошкой, а семеро с ложкой». Но оказалось, что тех, «с ложкой», еще больше, чем считал сам народ. Кроме помещиков и фабрикантов сюда же входили: торговцы, которые покупали у крестьян их продукты по низкой цене, а продукты города продавали им по высокой; скупщики, которые организовали крестьянское внеземледельческое производство, давали крестьянину задатки вперед, доставляли ему сырье и орудия труда, а затем наверстывали все это чрезмерным повышением своих барышей; наконец бравшие огромный процент ростовщики, к которым приходилось обращаться за ссудой.

В этой обстановке, где всякий брал с крестьянина все, что только можно и даже что только вздумается, произошло среди самих крестьян расслоение, и кулачество пользовалось этим страшно стесненным положением крестьян для того, чтобы сорвать о них и свою долю.

И когда, казалось бы, уже с крестьянина нечего было брать, являлось царское правительство со своими чиновниками, со своей армией, со своими попами, и каждый требовал с крестьян еще, еще и еще.

При таких условиях у крестьянина не могло накопиться никакого капитала, а без капитала нечего было и думать о *м а с с о в о м* улучшении крестьянского хозяйства — о ликвидации трехполья и других отсталых систем хозяйства¹.

Но если под влиянием «капитализации промыслов» (мы употребляем здесь выражение народника Н.—она), с одной стороны, и под влиянием усиления помещичьей эксплуатации — с другой, крестьянин все больше и больше оттеснялся в сторону ведения одного, так сказать, чисто земледельческого хозяйства ради одних только продовольствен-

¹ Сравни у В. И. Ленина: «Для изменения техники к лучшему нужны свободные денежные средства, а у этих крестьян нет даже продовольственных средств» (Ленин, т. II, стр. 127).

ных нужд, то это означало, что он должен был все время нарушать необходимую пропорцию угодий (пашня, лес, луг, выгон) в пользу пашни: шел процесс вырубания и расчистки лесов, запахивания лугов, выгонов и пастбищ.

Еще при своем «освобождении» в 1861 г. крестьянство было лишено в пользу помещиков целого ряда выгонных и луговых угодий. Вышеописанный процесс еще более обострил положение. Но сокращавшаяся непрерывно площадь кормовых угодий влекла за собой сокращение скота и навозного удобрения (на минеральное, разумеется, не было «свободных денежных средств»). А это вызывало хроническое недовосстановление естественного плодородия почвы и падение урожайности, а зачастую и катастрофические неурожаи. Вот картина оскудения массового крестьянского хозяйства. Отсюда неслыханное обнищание огромных слоев крестьянства, бегство в города, вымирание и т. д. В такой атмосфере рос кулак, подхватывая бросаемые полосы. В эту именно эпоху, накануне первой революции, по подсчетам Ленина, $\frac{1}{4}$ часть (только одна шестая!) крестьянских дворов сосредоточила у себя свыше 50% (свыше половины!) всего сельскохозяйственного производства. К этой картине вполне приложимы слова К. Маркса из I тома «Капитала»: «Процесс вытеснения, превращающий индивидуальные и разрозненные средства производства в общественно-концентрированные, превращающий карликовую собственность многих в гигантскую собственность немногих, — эта болезненная, эта ужасная экспроприация трудящегося народа, — вот источник и происхождение капитала. Основой всей этой эволюции является экспроприация земледельцев».

Но если все время падала хозяйственная сила крестьянства, то это не значило, что уменьшались аппетиты тех, кто был «с ложкой». Всех их надо было кормить: и капиталистов с их персоналом технической интеллигенции, налаживающим и организующим производство и обмен и помогающим выкачивать из производителя прибавочную стоимость, и помещиков, и попов, и служилый люд, и т. д., и т. п. Эти рты, по выражению Щедрина, требовали «кашки», но, чтобы крестьянин мог ее дать безропотно и безотказно, нужно было иметь такой политический режим, который

Мужика под пресс кладет
Вместе с свекловичей.

Так именно из тогдашней экономики (засилье помещичьей ренты и азиатских форм капитализма) вырастала та ужасная политическая реакция, которая ради самосохранения тех, кто хотел «кашки», не могла шутить, а должна была круто завинтить крышку над производителем, чтобы никто, никогда, нигде не мог позвать его — хотя бы намеком — к протесту, и чтоб сам он «не смел пикнуть».

Таким образом тогдашний научный анализ дает нам точную картину хозяйственной и политической жизни страны и в частности картину положения крестьянства как кулацкого, так и бедняцко-середняцкого.

II

Крайне любопытно теперь посмотреть, как выглядела эта же действительность под лупой великого художественного таланта А. П. Чехова?

Мы знаем, что покойный писатель недолюбливал марксистов. В письме к Л. В. Средину, от 1900 года, он замечает: «А на улицах (Ниццы) народ веселый, шумный, смеющийся, не видно ни и исправника, ни марксистов с надутыми физиономиями».

Поставить марксистов (потом говорили: «большевиков слева») рядом с исправником («большевиком справа»), обозвать их «надутыми», — очевидно, надутыми ложной ученостью, ложной наукой, — что может быть злее? Но личные симпатии и взгляды Чехова не были в ладу с его творческим инстинктом, с его художественной совестью. У писателей очень часто можно наблюдать подобную раздвоенность. В посмертной пьесе Льва Толстого «И свет во тьме светит» чувствуется, что автор не на стороне «толстовца» Сарынцова, а уделяет свои бессознательные симпатии жене Сарынцова, которая полемизирует с мужем. Второй пример: Тургенев задумал Базарова как памфлет, как карикатуру на кружок «Современника», а что получилось? Умный реакционер Катков констатировал, что вопреки субъективным намерениям Тургенева Базаров вышел у него куда более симпатичным, чем Кирсановы. Надо думать это потому, что, как говаривал Н. Г. Чернышевский, «лев не годится для карикатуры».

И в нашем случае: не жаловавший марксистов Чехов дал нам художественное изображение России вообще, а крестьянства в частности, чрезвычайно близко совпадающее с тем

изображением, которое было сделано научным анализом марксизма.

Мы постараемся доказать это прямыми сопоставлениями.

Еще среди самых ранних рассказов Чехова, таких рассказов, которые он сам же именовал «снетками», есть один — прямо символический — «Маска». В читальню, где за газетами сидели местные интеллигенты и чиновники, врывается пьяный человек в маске и начинает непристойнейший скандал, выгоняя читающих из комнаты. Все возмущены до крайности, требуют, чтоб он убрался. Но маска кричит: «прошу не претикословить и выйти!» Наконец зовут пристава. Делая страшные глаза, пристав орет: «Выйди вон!» Тогда буян снимает маску, и все узнают в нем местного фабриканта миллионера Пятигорова. «Интеллигенты растерянно переглянулись и побледили, некоторые почесали затылки» и... стали извиняться перед скандалистом, этим фактическим «хозяином жизни».

Вот она — подлинная хамская Русь, преемывавшаяся, как выражался Глеб Успенский, «перед купоном». Вот и образ одного из ее «вождей» — сильного забитостью, неразвитостью, отсутствием классового самосознания у его жертв...

А вот и другой «хозяин» — Павел Ильич Рашевич, помещик, белая кость. «Для меня, — говорит он, — такие слова, как порода, аристократизм, благородная кровь, — не пустые звуки... Не чумазый же, не кухаркин сын дал нам литературу, науку, искусство, право, понятия о чести, о долге...» «Мы... братаемся, извините, со всякой дрянью, проповедуем братство и равенство с кулаками и кабатчиками... Давайте мы все сговоримся, что едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим ему прямо в харю слова пренебрежения: «руки прочь! Сверчок, знай свой шесток! Прямо в харю! В харю! В харю!» («В усадьбе»).

Читатель, конечно, видит, каковы на деле «благородство» и «аристократизм» этого азиата. Но как метко, как совсем по-марксистски схвачена тут взаимная ненависть двух эксплуататорских классов, вырастающая на базе дележа добычи, которая берется из одного и того же источника...

Подобные же взаимоотношения прекрасно схвачены Чеховым в «Рассказе неизвестного человека». Один из героев рассказа — Орлов, по внешности культурный европеец, интеллигентный чиновник и аристократ, а на деле гнуснейший азиат, использовавший как «клубничку» честную, чуткую, цельную женскую

натуру, погубивший ее и бросивший «в приют» родную дочь, от нее прижитую, — разводит рацеи в стиле Рашевича: «Наш свет (высший) и пошл и пуст, но зато мы с вами хоть порядочно говорим по-французски, кое-что почитываем и не толкаем друг друга под минитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоров, Никит и у их степенств — потрафляем, таперича, чтоб тебе повылазило, — и полная разнузданность кабацких нравов и идолопоклонство».

В «Жене» главное действующее лицо выражается так: «Я не скажу, чтобы они были нечестны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и веры, и весь смысл их жизни сводится на рубле. Рубль, рубль и рубль!» Совсем «жаба» Рашевич!.

Вот третья фигура из «Степи»: Варламов, крупный торговец шерстью, — «его все ищут, он всегда «кружится» и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая». «Лицо его... простое, русское, загорелое лицо». Эпигоны народничества твердили, что капитализм растет сверху. Чехов одним мимоходом брошенным словом — «простое, русское лицо» — превосходно показывает, что ему доподлинно известно, как капитализм «растет снизу»; как из рядов мелких товаропроизводителей выходят эти Морозовы, Горюхины, Варламовы. «Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание «силы и привычной власти над степью», над тысячами и тысячами ее производителей. Как подобного «чумака» должны были ненавидеть Рашевичи и Орловы!».

Пятигоры, Рашевич, Варламов — крупные фигуры. Но вокруг них, рангом ниже, размерами меньше, кипит всевозможные «печенег». Кстати, Чехов любит и часто употребляет это меткое слово, так красноречиво говорящее об Азии, об азиатских формах русского капитализма. В «Моей жизни» дочь инженера говорит по адресу мужиков: «Дикари! Печенег!» В рассказе «Жена», написанном много позднее, доктор Соболев отмечает: «А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, несколько не изменилась, те же печенег и половцы». Мы еще будем говорить ниже о деревне по Чехову, а сейчас коснемся «печенегов» из других общественных слоев. Вот «печенег» Жмухин, мелкопоместный дворянин-казак. Размышляя о телеграфе, о телефоне, о велосипедах, он находит, «как все это не нужно»; про женщину говорит:

«Я женщину, признаться, не считаю за человека». «В мое время, — рассказывает он, — жили без церемоний». Когда он служил на Кавказе офицером, убили князя из горцев. На его могиле убивалась, рыдала жена. «Ну, надоело... Взяли мы эту княгиню, высекли ее — и перестала ходить на могилу». «И сейчас, — констатирует он, — не лучше». И он сообщает, как его сосед применяет один из бессовестнейших способов «первоначального накопления»: он платит своему приказчику каждую субботу за то, что тот согласился при расчете рабочих на шахтах по этим дням заявлять, что денег нет; те его избивают, бросают шахты, но приходят новые голодные люди, и история повторяется опять и опять... («Печенег»). Но откуда берется эта бесконечная цепь голодных людей? Это та знаменитая «резервная армия безработных», роль которой при развитии капиталистического способа производства так блестяще вскрыта Марксом.

Ординатор Королев приезжает к больной дочери фабрикантши Ляликовой в деревню на фабрику. Глядя на корпус, он думал о том, что «вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, наекомые...» «Тысячи полторы-две фабричных работает без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отреабвляются от этого кошмара» («Случай из практики»).

В «Моей жизни» герой рассказа говорит почти теми же, что и Королев, словами: «Мне предстояла однообразная, рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки». Здесь фабрика окружена еще такой атмосферой, которая целиком сохранилась со времени господства первоначальных этапов капитализма.

В другом рассказе читаем: «Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведома станowego пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц» («В овраге»).

В том же рассказе появляется еще одна в высшей степени интересная для нас фигура — кулак Григорий Цыбукин. «Григорий Цыбукин держал бакалейную лавочку (в селе Уклееве), но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется (NB. Это обстоятельство очень характерно для той стадии развития, когда не все еще крестьянские хозяйства имеют высокий процент товарности. *Ив. Т.*), и когда, например, за границу понадобились для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый».

Эту до последней степени точную зарисовку любопытно сопоставить с зарисовкой другого кулака из села Райбужа — Кашина, он же Дюдя, в рассказе «Бабы», написанном гораздо ранее, лет за десять до рассказа «В овраге»: «Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтем, и медом, и скотом, и сороками, и у него уже набралось тысяч восемь, которые лежат в городе в банке».

Нельзя пройти мимо одного штриха в обоих силуэтах: и Цыбукин и Дюдя торгуют... сороками. Этот штрих очень показателен; он говорит о том, что образы у Чехова не надуманные, а выхваченные им из самой подлинной, из самой живой действительности, а потому глубоко запомнились, запали в душу.

Перед нами прошла целая галлерея лиц, от фабрикантов Пятигоровых и Ляликовых, скупщиков Варламовых, помещиков Ращевичей и Орловых до деревенских кулаков, направивших свои капиталы либо исключительно на торговлю (Цыбукин), либо затрачивающих их и на сельское хозяйство («Дюдя арендует участки»). Мы видели картину страны, где отцы жестоко бьют своих детей (интеллигент-архитектор Полознев, лавочник-кулак Лопахин и т. д.), мужья — жен (в «Новой даче» глупый Володька бьет Лукерью, тоже в «Бабах», в «Мужиках»), где царствуют пьянство, разврат, карты, взятки во всех сословиях (город не дал и нженерам пятидесяти тысяч, и они провели железную дорогу в стороне от города — в «Моей жизни»), где мнимые интеллигенты вступают в борьбу с «народными предрассудками», зажигают сразу три свечи, — но в то же время с остервенением травят девушку, забеременевшую от любимого человека, где процветает самое махровое подхалимство, хамство, молчаливство (Кулыгин в «Трех сестрах»: «директор у нас с выбритыми

усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился). В городах этой страны — гниль средневековья. Мисаил Полознев говорит про свой город: «Во всем городе (а в нем 60 тысяч жителей) ни одного честного человека! Эти ваши дома — проклятые гнезда, в которых сживают со света матерей, дочерей, мучают детей... Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город...» «И я спрашиваю, чем же эти глухие, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков или чем лучше они животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами». И посмотрите, как эти «хозяева жизни» относятся к трудящимся. В «Жене» доктор Соболев бросает фразу: «Сколько среди нас гуманных, чувствительных людей, которые искренно бегают по дворам с подписными листами (в пользу голодающих. *Из Т.*), но не платят своим портным и кухаркам». Еще ярче выражается Полознев-сын: «Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо... В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, легкую муку и спитой чай; в церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им вяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды; на почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами, как с животными...»

Вершинин в «Трех сестрах» говорит о своем городе: «Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, — таких, как вы, только три». Подумать, — только три! А Андрей Прозоров еще более строг: «Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного... который возбуждал бы страстное желание подражать ему... Только едят, пьют, спят... разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством...» И он заканчивает мечтой о том, что придет время, когда он и его дети станут «свободны от праздности, от кvasу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства».

Не отстает от горюда и «деревня». От внимания воркого художника не ускользает ни одна черта хозяйственного быта. «Когда портнихи кончили, то Цыбукин («В овраге») заплатил им не

деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать». Вторая жена Цыбукина — Варвара, сохранившая еще обывательскую совесть, жалуется пасынку: «Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работница ли нанимаем — на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?» Пасынок соглашается с ее характеристикой и добавляет: «Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл, а шкурки-то у папаша...»

Читатель помнит, какую картину России, современной Чехову, давал марксистский научный анализ. Теперь мы увидели эту же Россию под пером великого художника. Я думаю, читатель схватил уже поразительное совпадение этих двух изображений. Как художник Чехов видел Россию «по-марксистски», как он ее растет — «по Гегелю».

В чем же суть его «точки зрения»? Русская критика выработала известный, широко распространенный трафарет оценок Чехова. Так Львов-Рогачевский характеризует нашего автора как певца «эпохи бездорожья и безвременья»; Евгеньев-Максимов пишет: «Он ярче, чем кто-либо из писателей его эпохи, обрисовал развал и разложение окружающей жизни, показал тот тупик, в который забрела Россия». Дивильковский в творчестве Чехова видит «грусть над безобразием жизни». Покойный Ангел Богданович называл Чехова «талантом мертвой полосы». Подобные отзывы можно цитировать без конца: они типичны почти для всех критиков Чехова. Как курьез напомним, что А. Измайлов, не согласившийся с оценкой А. И. Богдановича и резко полемизировавший с ним, сам определил Чехова, можно сказать, слово в слово: «Чехов — самый яркий певец нашей сумеречной эпохи». Чем «сумеречная эпоха» отличается от «мертвой полосы», — наверно, не скажет и сам сердитый антагонист Богдановича.

Верны ли все эти определения? Мы ответим так: они слишком общи, лишены конкретности, а потому, даже то, что в них верно, не имеет полновесной цены. Мы теперь можем сказать гораздо точнее, гораздо конкретнее: Чехов — бытописатель страны, бившейся в тисках пережитков

феодализма и отсталых, азиатских, средневековых форм капитализма в момент, когда эти формы стали испытывать атаку, натиск со стороны высших форм капитализма. Как отразились в творчестве Чехова эти атака и натиск, мы рассмотрим ниже, а сейчас подчеркнем, что господство таких азиатских форм капитализма везде и всегда в истории сопровождается, с одной стороны, беспримерно жестокой эксплуатацией, а с другой — крайней забитостью, темнотой, отсутствием сколько-нибудь заметного классового самосознания у производителей.

Эти две характернейших черты эпохи с поразительной верностью, как помнит читатель, схвачены Чеховым: вряд ли кто ярче его изобразил город и деревню (вспомните еще раз реплики Андрея Прозорова) эпохи первоначального накопления с ее очень высокой нормой прибыли, дающей для одних возможность бытой, ленивой, скотской жизни, для других — несущей смерть, вырождение, рабство, разгром последних остатков независимого, самостоятельного хозяйствования.

III

После того как мы уяснили себе суть общественно-экономических отношений России в народнохозяйственном масштабе, обратимся в частности к деревне, к сельскому хозяйству. Совпадут ли и здесь анализ науки и творчество поэта?

В одном из ранних рассказов («Смирель»), написанном еще в середине 80-х годов, т. е. задолго до «марксистской полосы» в русской легальной литературе, Чехов передает разговор пастуха Луки с охотником Мелитоном. Лука говорит: «И куда оно все девалось?.. Лет двадцать навад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча-тучей!.. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковину, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были! Лет сорок я примечаю из года в год божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится... Пришла пора божьему миру погибать... Не одни птицы (пропадают)... И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять таперя реки... Реки-то, небось, сохнут... И леса тоже... И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет...

Всякая растения на убыль пошла... Рожь ли взять, овощь ли, цветик ли какой, все к одному клонится...

Пусть читатель заглянет еще раз в ту страницу нашей статьи, где согласно научным данным описывается процесс оскудения земли, распахиwania лугов и лесов, падения урожайности и т. д., — он сразу же констатирует полное сходство научного описания с чеховским изображением. Но послушаем дальше нашего пастуха; он указывает на то, как этот процесс оскудения почвы ведет за собой вырождение и мужика и барина. Про первого он говорит: «Сын мой умней меня, а поставь его заместо меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет». Еще ярче он характеризует барина, гибнущего, несмотря на всю свирепость, с какой он эксплуатирует мужика под ударами развивающегося капитализма: «Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтоб себя к настоящему делу приспособить¹. Прежние бары наполовину генералы были, а нынешние — сплошной междрышка». Поистине, совсем, как у Некрасова:

Порвалась цепь великая,
Порвалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим — по мужику.

Наблюдения пастуха целиком подтвердил приказчик с хутора Мелитон: «И жить хуже стало, дед. Совсем не могу жить. Не урожай, бедность... падежи то и дело, болезни... Одолела нужда».

Тот же мотив слышим мы в «Степи» (1888 г.): «Пантелей (возчик) рассказывал, что в былое время, когда еще не было железных дорог, он ходил с обозами в Москву и в Нижний, зарабатывал так много, что некуда было девать денег. А какие в то время были купцы, какая рыба, как все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупее, народ беднее, хлеб дороже, все измельчало и сузилось до крайности». В подчеркнутых нами словах ясно описан процесс дробления крестьянских хозяйств, который ведет к их страшной измель-

¹ Это поразительно меткое слово. Нужно считать установленным, что еще тургеневского «лишнего человека» следует считать феодалом, помещиком, не сумевшим обуржуазиться, но не желавшим более жить по-старому, т. е. человеком, который, говоря языком Луки, «не может приспособить себя к настоящему делу».

ченности, сопровождающейся падением плодородия, урожайности и «товарности».

Старик Осип в «Мужинах» (1897 г.) говорит все о том же, «как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живетсЯ так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битой птицей».

В чудесном рассказе, написанном в середине 90-х годов («Скрипка Ротшильда»), знакомимся мы с гробовщиком Яковом. Живет он в городке, но «городок был маленький, хуже деревни»; «жил он бедно, как простой мужик». И вот этот Яков «сел под вербу и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старЫй-старЫй сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, а на реке утки да гуси, и не похоже, чтоб здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей». Рассказ кончается потрясающими размышлениями замученного нуждой старика. В предсмертном тифозном бреду он «соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная».

Луке, Мелитону, Пантелею, Осипу, Якову вторит доктор Астров из «Дяди Вани»: «Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки... Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее». «Все беднее земля», — это верное указание на падение естественного плодородия почвы целиком, как мы видели, разделялось наблюдателями из «простонародья». Астров ввел новый, «эстетический» момент — «безобразнее», но его мы коснемся ниже, в другой связи. Немудрено, что при таком оску-

дении «мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут»: им не до эстетики, быть бы живу! Доктор показывает своей собеседнице составленную им картограмму, из которой явствует, что было 25—50 лет тому назад в их уезде: «Водились лоси, козы... лебеди, гуси, утки... носилась птица тучей (ср. язык Луни!). Рогатого скота и лошадей было много». Но вырубать стали лес, и теперь «картина постепенного и несомненного вырождения, которому, повидимому, остается еще каких-нибудь 10—15 лет, чтобы стать полным». Нет никакого сомнения, что пророчество Астрова сбылось бы до малейшей подробности, если б не революция 1905 г., когда, с одной стороны, высшие формы капитализма, а с другой — созданный ими же пролетариат, каждый по-своему, начали борьбу с таким положением вещей...

Нам кажется, что можно ограничиться этими выписками. Нужно признаться, что и их вполне достаточно, чтоб считать доказанным, что процесс «оскудения» сельского хозяйства Чехов опять-таки изобразил совсем по-марксистски. Наблюдения Чехова относились к лесо-степи и особенно к степи. Уроженец Северного Кавказа, Чехов особенно хорошо знал засушливую зону нашего сельского хозяйства. До последней степени любопытно сопоставить с нарисованной им картиной следующие сухие строки одного из специальных докладов Наркомзема: «Прошрое столетие на значительной части территории (засушливой) области характеризуется усиленным внедрением зернового хозяйства, которое почти повсеместно вытесняло экстенсивные отрасли животноводства, свойственные сельскому хозяйству области в прошлом. Так в Самарской губернии с 1860 по 1887 гг. площадь пашни увеличилась на 232%, в Оренбургской — на 835%. Сенокосные угодья сокращались. В результате этого процесса, к началу XX века сельское хозяйство значительной части области приняло односторонний зерновой характер. Так, в 1916 году зерновые культуры в посеве составляли в Приволжье — 94,9%, в Заволжье — 97,1%, в Донском округе — 89,8% и т. д.». Не правда ли, полное совпадение наблюдений художника и экономиста. Тот же экономист указывает, что за последнее время (в конце 80-х и в 90-х годах) наметилась тенденция к интенсификации как в земледелии, так и в животноводстве. Растет, например, свиноводство. Насколько внимателен был

глаз Чехова, можно судить по тому, что он заметил и этот процесс. В той же «Степи» (1888 г.) мы читаем: «И желая на первых же порах показать, что он не такой мужик, как все, а лучше, Константин поспешил добавить: «Мы пасеку держим и свиней кормим».

Мы знаем теперь, в какой народнохозяйственной обстановке пришлось жить крестьянству: «семеро с ложкой» жадными пьянками присосались к его телу. Петр Трофимов из «Вишневого сада» говорил Ане: «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов?!» Бедняга совершенно напрасно начинал с деда; если бы он понимал суть вещей, он кроме дедов говорил бы и о внуках. Полукрепостническая эксплуатация прекрасно процветала и при нем. Все эти Раневские, Гаевы, Пипчики, Орловы продолжали кормиться за счет мужика. С ними соперничали в этом деле Ляликовы, Пятигоровы, Варламовы, Цыбукины, Дюди и т. д. и т. д. Это — первый момент. Мы знаем теперь и второй момент, тесно переплетающийся с первым, — это момент падения урожайности, момент измельчания крестьянских хозяйств, момент хищнического истощения естественного плодородия почвы. Там, где сочетаются эти два момента, мы всегда находим третий момент: неслыханные страдания обездоленных масс крестьянства. Ускользнул ли этот факт от внимания Чехова? Нет, не ускользнул. Он видит беспросветную нищету, темноту (вспомним хотя бы «Злоумышленника»), бесправие, заброшенность... В «Жене» читаем: «В конце концов им есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного, сыпного тифа; все буквально больны... В избах смрад, а пищей служит один мерзлый картофель...» В той же повести доктор говорит: «Только и знаем, что горим, голодаем... Ведь это не жизнь, а пожар в театре». В «Новой даче» Степанида жалуется: «И грехов много от бедности, да с горя все, как псы, лаем, хорошего слова не скажем, и чего не бывает, барыня-голубушка, — не дай бог!» «Бедность, — вторит ей Родион, — заботы много, работаем — конца краю не видать. Вот дождя бог не дает... Ненадно живем, что говорить...» Жена инженера жалуется, что крестьяне их обижают, а тот же Родион отвечает ей: «Народ у нас хороший, смирный... Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, всту-

питься, значит, — да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет».

В «Мужиках» Николай смотрит, «с какой жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду»... «По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях». На этом фоне, действительно, оправдываются слова Степаниды, и даже больше того: — вот, «подойдя к жене, Кирыяк размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь». Да, «нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься». В силу таких обстоятельств, старуха-хозяйка «старалась все делать сама: сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила наполдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы». А проработавши весь день, она «намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час». Да и что кроме хлеба могла есть эта злосчастная семья, если «шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного — копеек двадцать в неделю»?

Отсюда же недоимки... На почве насильственного их взимания разыгрывается страшная сцена: «Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабна и кричала визгливо, напрягая грудь: «Не отдам! Не отдам я тебе, окаанный!» Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи; седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась, и как настоящая бунтовщица (пусть читатель запомнит этот штришок: он объяснит ему 1917 год в деревне) стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая: «Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитесь!» В другом рассказе — «В овраге» — Чехов передает, что «когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба (по адресу кулаков Цыбукиных): — Насосались нашей крови, и роды, нет на вас погибели!» И здесь

надо отдать должное воркости Чехова. Разумеется, он знал, что главный фон тогдашней деревни — это забитость, страх перед хозяевами жизни, покорность судьбе. Но он улавливал на этом фоне такие мимолетные вспышки, как вышеописанные; потухавшие безрезультатно в миллионах случаев, они пророчили наступление момента, когда все это горе, все это отчаяние и озлобление польются широкой, мощной рекой, после того как другой класс — городской пролетариат — могучей рукой сорвет плотину. Недаром ухо Чехова услышало в середине 90-х годов, как мужики «говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то...» Лично Чехов вряд ли придавал значение этим намекам и разговорам, во всяком случае им не сочувствовал, но — добросовестность художника прежде всего! И вот он передал нам то, что уловил.

На базе сочетания разобранных нами трех моментов — беспощадной эксплуатации, падения хозяйства и жестоких страданий — вырастают всевозможные пороки. Но здесь мы должны сделать несколько замечаний по поводу того, что как раз в этом пункте Чехов-художник не всегда был в ладу с Чеховым-человеком. Правда, и здесь великий писатель дает превосходные снимки с действительности, но он не всегда удерживается от собственной оценки этих снимков и этой действительности. Возьмем, например, вопрос о пьянстве. Общеизвестно, что даже злейшие реакционеры, например Катков, Фет и др., не могли отрицать глубокой деградации крестьянского хозяйства в тот период. Но эти господа добавляли, что в такую беду попадал мужик сплошь и рядом по своей собственной вине, и они выдвигали на первый план вопрос о народном пьянстве. С легкой руки реакционеров этот мотив стал перепевать и рядовой обыватель. Покойный Д. Д. Минаев отразил этот факт в одном сатирическом стихотворении:

Полно вам! Такого рода
Дифирамбы в честь народа
Надоели! Наш народ
Пьянство губит и гнетет.
Одурманена вся Русь им:
Села, веси, города...
Впрочем, выпьем и закусим
Пред обедом, господа!

Разумеется, народники поднимали перчатку, причем иногда впадали чуть ли не в идеализацию народного порока. Так, Некрасов писал:

Мужик стоял на валике,
Притопывал лаптишнами
И, помолчав минуточку,
Прибавил громким голосом,
Л ю б у я с ь на веселую,
Ревущую толпу:
Эй! Царство ты мужицкое,
Беспаночное, пьяное,
Шуми — вольней шуми!..

.
Пиши: «В деревне Босово
Яким Нагой живет,
Он до-смерти работает,
До-полусмерти пьет!

Но надо признать, что Некрасов был довольно одинок в таком подходе к пьянству. Большинство народников шли иным путем: они совершенно справедливо оспаривали самый факт будто бы беспримерного пьянства; с цифрами в руках они доказывали, что целый ряд западно-европейских и американских стран тратит, при расчете на душу населения, гораздо больше денег на водку и тем не менее не знает такой беспросветной нужды и разорения хозяйства.

В этом, длившемся целые десятилетия, споре Чехов, к сожалению, часто занимал вульгарную, обывательскую позицию. Почти во всех рассказах у него — где мужик, там и беспробудное пьянство. В «Новой даче» читаем: «Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька отправились в село Кряково, где был кабак, и долго там гуляли». И далее: «Не ходи, сынок, небось в кабак зовут». — «В кабак», — передразнил Володька. «Опять пьяный вернешься, ирод собачий! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой. — Иди, иди, и чтоб ты сгорел от водки, сатана бесхвостая!..» Володька ударил ее по уху и вышел».

В «Мужиках» та же картина: «В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами все врозь и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: «Ах, батюшки!» В «Моей жизни», — совершенно так же, как и в «Новой даче», — положение складывается такое: благожелательные к мужику

интеллигенты (и в обоих случаях инженеры, один с женой, другой с дочерью) в ответ на хорошее к мужику отношение встречают со стороны крестьян попытки постоянно тянуть с них на водку и вообще «наживаться» на их счет. Это выводит из себя интеллигентов, и они начинают ненавидеть мужиков за хамство, за пьянство, за неуважение к себе и т. д. Наблюдая такие картины, сам Чехов иногда был склонен крикнуть совместно кое с кем из своих персонажей: «Варвары! Дикари! Печенеги! Половцы!» Но иногда заговаривала совесть художника, инстинктом чувствующего причины причин, и тогда Чехов выводил Королева, который понимал, что трудовой люд «только изредка в к а б а к е отрезвлялся от этого кошмара». В такие моменты он выводил Ольгу в «Мужиках», которая начинала с филиппик, а кончала прощением. «Эти люди, — думала она, — живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ?—Мужик. Кто растрачивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги?—Мужик. Кто украл у соседа, поджег, должно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков?—Мужик. Да, жить с ними страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания»¹.

Почти к аналогичным заключениям приходит Мисаил Полознев из «Моей жизни». «Я привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову, — которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чув-

¹ Современному читателю едва ли надо подчеркивать, что добрая Ольга валила в одну кучу и мужика-кулака, содержащего кабак или состоящего в земских гласных, и бедняка, у которого «ни кола, ни двора».

ствовалося, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне». И чтобы завершить, наконец, картину пороков, напомним, что у Чехова часто наряду с пьянством — дикий разврат. В «Бабах» Варвара гуляет с поповичами, в «Мужиках» Фекла — с приказчиками, «В овраге» Анисья — с купчиками, и т. д. и т. д.

IV

Из всего предыдущего изложения читатель убедился, до какой степени точно и верно отражал художник-Чехов современную ему Русь-матушку со всеми ее общественно-экономическими отношениями. Но картина, о которой мы говорили выше, была картиной статической. Возникает очень важный вопрос, улавливал ли Чехов, что Россия не стоит все же на месте, а движется, и затем, куда же, по его мнению, движется великая страна и какова, стало быть, динамическая ее картина?

Сравнительно историческое изучение революционных движений дает возможность констатировать тот факт, что во всякой стране победное шествие капитализма вызывает той или иной силы протест со стороны разоряемых капитализмом масс мелких самостоятельных товаропроизводителей. Эти массы хотели бы не дать развиваться «язве пролетариата», «задушить», как говорили наши народовольцы, «буржуазию в самом зародыше». Эти массы предлагали — в общем и целом — три типа тактики в борьбе с капитализмом. Л е в о е к р ы л о выдвигало идею захвата революционным путем политической власти, чтобы затем преодолеть, опираясь на нее, засилье буржуазии методом насаждения производительных ассоциаций. Ц е н т р а л ь н о е к р ы л о, в большинстве своем, находило, что можно обойтись без революции, а производительные ассоциации создавать и развивать на базе самодеятельности и самопомощи и, наконец, п р а в о е к р ы л о, не веря ни в революцию, ни во взаимопомощь, уповало на то, что производительные ассоциации или даже восстановление индивидуальных хозяйств разоренного товаропроизводителя будут поддержаны умом, совестью, капиталами господствующих классов и правительств¹.

¹ Подробнее об этом см. мои статьи «К классовой характеристике творчества Горького» («Большевик» № 6, 1928 г., стр. 74—76), а также «Историческое значение партии «Народной Воли» («Каторга и ссылка», 1929, № 8—9).

И в России мы видим все эти три течения. В эпоху Чехова левое крыло было представлено народовольчеством, центр — мирным анархизмом Толстого, правое крыло — пресловутой абрамовщиной, гайдебуровщиной и другими аналогичными течениями.

Каково было отношение Чехова к любому из этих течений, ставивших себе целью, несмотря на различие путей, спасение крестьянства от гибели под колесами капитализма, и нашли ли они отражение себе в творчестве Чехова?

Относительно народовольчества можно определенно сказать, что Чехов никогда не наделял его своими симпатиями, да, повидимому, и не понимал его. Достаточно сказать, что террорист из «Рассказа неизвестного человека» взят Чеховым в тот момент, когда он уже «перестал быть революционером» (говоря словами Льва Тихомирова). Вспомним, что в литературной жизни Чехова мы имеем одну много говорящую дату: как раз тогда, когда в начале 80-х годов все, что оставалось еще честного в России, оплакивало жуткую картину казней и пожизненного заточения народовольцев как плод мести со стороны озверевшего царизма, именно в это время Чехов стал... «смеяться» в бульварных юмористических листках ради развлечения самого заскорузлого читателя. Правда, в вышеупомянутом рассказе женщина, которой открыли глаза ее личные страдания, воскликнула однажды совсем в духе народовольцев: «Смысл жизни только в одном — в борьбе! Наступить каблуком на подлую змеиную голову, и чтобы она — крак!» Но из этого ничего не вышло: она отравилась, не начав борьбы.

Но, будучи в стороне от настроений и идей «левого крыла», Чехов вряд ли когда-либо сочувствовал и «правому крылу» — полулибералам, полународникам типа писателей «Недели» и т. п. В «Жене» (1892 г.) читаем такие строки, хотя и сказанные не от лица автора, но по всем соображениям им разделяемые: «Земские врачи и фельдшерицы в продолжение многих лет убеждаются, что они ничего не могут сделать, и все-таки получают жалованье с людей, которые питаются одним мерзлым картофелем».

В «Доме с мезонином» (1896 г.) один из героев рассказа заявляет: «По-моему медицинские пункты, школы, библиотеки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья».

Как же относился Чехов к центральному крылу», к толстовству? В одном из писем к Суворину в 1894 году он сказал: «Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет шесть-семь». Получило ли это увлечение какое-нибудь отражение в творчестве Чехова?

Обычно считают, что повесть «Моя жизнь» была данью толстовству. Евгеньев-Максимов оспаривает это положение, находя, что программа героев этой вещи не толстовская, а культурническая, в духе «Недели». На наш взгляд истина — посредине. Чехов недостаточно точно разбирался в обоих течениях и bona fide приписывал одному то, что характерно для другого и — наоборот. Но все же в повести звучат ясные нотки толстовства. Когда Мисаил говорит отцу, что «надо быть справедливым, физически труд несут миллионы людей», — это от Толстого. Когда Маша Должикова заявляет: «Каждый должен добывать себе хлеб собственными руками, между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить», — то это, конечно, не от культурничества, и если не от самого Толстого, то во всяком случае от толстовцев. Когда Полознев-сын говорит: «прогресс — в делах любви, в исполнении нравственного закона», — то это от Толстого, и т. д. и т. п.

Если взять Ольгу из «Мужиков» и Липу из повести «В овраге», нужно признать, что их настроения всепрощения, полное отсутствие «насилия против зла» говорят за то, что их образы навеяны Толстым, хотя к тому времени Чехов уже освободился от его влияния.

К какому же итогу мы приходим? Азиатские формы капитализма справляют свою дикую оргию; народ стонет под их ярмом. Чехов ясно видит царящее зло и в то же время не соединяет своей судьбы ни с одним из описанных выше крыльев мелких товаропроизводителей, так или иначе борющихся с торжествующей напастью.

Но, может быть, он с теми, кто ставил ставку на высшие формы капитализма, как на такой строй, который порождает своего могильщика в лице пролетариата, естественного вождя многомиллионных масс обнищавшего мелкого товаропроизводителя?

На этот вопрос надо ответить решительным «нет». В пьесах Чехова совсем не нашла отражения эта сторона действитель-

ности. Мы еще увидим, что Чехов ясно понимал прогрессивное значение «высших форм капитализма», но отнюдь не видел его в том, что они создают сознательный пролетариат. Но если человек видит зло и считает его таковым, а в то же время не борется с ним ни одним из имеющихся в наличности путей, то ведь это означает глубокую безысходность. Таковой ли была действительность в глазах Чехова?

Мы думаем, что в литературной деятельности Чехова было в сущности два этапа: п е р в ы й — когда он, хотя и надеялся, что «избавление» придет, но полагал, что оно придет через очень и очень большой срок, и в т о р о й — когда он увидел и поверил, что сроки волей судеб весьма и весьма сокращаются...

На п е р в о м этапе — его, так сказать, п р о г р а м м а - м а к с и м у м была ясна: Чехов отчетливо понимал, что только высшие формы капитализма положат конец азиатским формам, которые являются не чем иным, как ненавистным ему «мещанством»¹, в котором погрязала Россия. Ниже мы приведем цитаты, которые докажут правильность нашего утверждения о ставке Чехова на высшие формы капитализма. А пока посмотрим, как выглядела на п е р в о м этапе развития Чехова его п р о г р а м м а - м и н и м у м. Что же делать теперь, на протяжении ближайших десятилетий, раз «избавление» придет лишь через двести-триста, даже (по Астрову) через тысячу лет?.. На этот вопрос мы получаем и от героев Чехова и от него самого очень неутешительные ответы. Вот в «Рассказе неизвестного человека» между ним и Зинаидой Федоровной происходит такой диалог:

«— Что мне тут делать и что я буду делать?

¹ В «Моей жизни» он, если не ошибаемся, впервые употребляет слово «мещанство». Описавши, в каком скотском положении были все слои городского общества, Полознев-сын добавляет: «Лишь от одних девушек веяло нравственной чистотой (ниже мы еще вернемся к этому «тургеневскому» мотиву. *Ис. Т.*); у большинства из них были высокие стремления, честные, чистые души; но они не понимали жизни, и, выйдя замуж, скоро старились, скукались и безнадежно тонули в тине пошлого, мещанского (NB) существования». Здесь совершенно правильно Чехов поставил знак равенства между термином «мещанство» и термином «азиатские формы капитализма». Насколько в этом отношении Чехов стоял впереди целого ряда наших мыслителей, показывает пример хотя бы Герцена; ведь написал же последний такие слова: «Русские имеют в себе очень мало мещанских элементов» (Сочинения, т. XIV, стр. 509).

— Что делать? — сказал я, пожав плечами. — На этот вопрос нельзя ответить сразу.

— Я вас спрашиваю, что я должна здесь делать? И не только здесь, в Ницце, но вообще?»

И наш герой должен был «сознаться в своем бакиротстве».

В «Случае из практики» между Королёвым и Лизой идет такой разговор:

«— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда? Да куда угодно, — сказал Королёв и засмеялся. — Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку».

Как видим, и здесь нет ответа, ибо нельзя же брать всерьез увертку Королева, хотя бы и остроумную. Вершинин из «Трех сестер» отделяется самыми общими фразами: «Как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать».

Как работать, в каком направлении, — остается без ответа. Но Вершинин все же верит, что «счастье — это удел наших далеких потомков». А вот Тузенбах, напротив, думает, что «не то, что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была»...

В «Огнях» рассказчик заключает свои беседы на интересующую нас тему словами: «Я не увозил с собою ни одного решенного вопроса... Да, ничего не поймешь на этом свете».

В «Моей жизни» доктор Благово, определенный будущий «кадет», восклицает в пику «народнику» Полозневу: «Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду».

Сам Чехов в письмах к А. Н. Плещееву от конца 80-х годов писал: «Цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма — мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем». Яснее ясного! Я ненавижу азиатчину, ненавижу мещанство, но в чем «норма», чем их заменить — не знаю...

Еще резче ту же мысль он высказал в письме к И. Л. Щеглову: «Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на

этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны». Короленко так характеризует нам Чехова этого этапа: «Человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой... при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом», т. е. человеком, совсем неуверенным, придет ли «избавление»...

V

Итак, в программе-максимум этого чеховского этапа ставка на далекие-далекие, но все-таки высшие, европейские формы капитализма; в программе-минимум — ничего определенного, ничего ясного. Мы и рассмотрим, какими же надеждами на иную действительность жил Чехов, а затем, что же он предлагал все-таки делать, чтоб если уж не бороться с окаянной действительностью, все-таки стучавшейся своими грязными пальцами в окна его кабинета, то хоть забыть ее...

В «Огнях» инженер Ананьев отчетливо рисует «программу-максимум»: «В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человеческим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как все это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?» К слову сказать, можно было бы подумать, что Чехов был знаком с теорией проф. А. И. Скворцова о влиянии парового транспорта, но «Огни» написаны раньше выхода в свет скворцовской книги.

С Ананьевым совершенно согласен доктор Астров, очень напоминающий нам реального доктора Шингарева, возмущавшегося фактом существования «вырождающейся деревни» и предлагавшего лечить болезнь кадетской либеральной программой; так вот Астров говорит: «Если б на месте этих истребленных лесов прочли шоссе, железные дороги¹, если б тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы здоровее, богаче, умнее, — но ведь тут ничего подобного. В уезде

¹ Пусть читатель вспомнит, что, наоборот, «печенег» Жмухин находил, что «телефоны, телеграфы, велосипеды — не нужны».

те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Разрушено почти все, но взамен не создано еще ничего».

Трудно ярче формулировать и протест против азиатских форм капитализма и мечты о так называемом «упорядоченном капитализме», о высших формах капитализма. Та же мечта об упорядоченном капитализме совершенно ясно вскрывается следующим негативным, так сказать, приемом. В предсмертной Чеховской пьесе «Вишневый сад» (1903 г.) Трофимов говорит: «Человечество идет вперед. Все, что недосыгаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать... У нас в России работают пока очень немногие... Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты» (стало быть, — пусть прислуга остается, только говорите ей «вы». *Ив. Т.*), с мужиками обращаются, как с животными (стало быть, — пусть мужик будет, но считайте его равноправным гражданином. *Ив. Т.*), учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало... Большинство из нас, девяносто девять из ста, живут, как дикари, чуть-что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... Где у нас ясли? Где читальни?.. Есть только грязь, пошлость, азиатчина». В «Моей жизни», написанной чуть ли не за десять лет до «Вишневого сада», находим те же моменты, которые надо устранить: «богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, а слуги, даже старые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями (стало быть, — слуги останутся и в новом строе, но будут жить несколько иначе. *Ив. Т.*)... Ели невкусно, пили невдовую воду». Настолько оформились раз навсегда мечты Чехова, что налицо совпадение — слово в слово, почти буква в букву — реплики Трофимова и Полознева.

Читатель, таким образом, видит, что мечты Чехова — довольно мизерные, совершенно буржуазные, типично либеральные, астровско-шингаревские. Теперь нам понятно, почему не лежала душа Чехова ни к одному из крыльев мелкого товаропроизводителя, так или иначе борющихся против господствовавших

отношений, а тем более к идеологам рабочего класса. Социалист понимал, что «американский» тип развития капитализма выше «прусского» (термины Ленина), но главным образом потому, что первый тип вносит большую классовую ясность в сознание пролетария и делает более упорной его борьбу. Для либерально настроенного Чехова высшие формы капитализма были дороги сами по себе; согласно его взглядам, они должны были покончить с азиатщиной и, совершив этот подвиг, законсервироваться на многие, многие столетия, а может быть, и навсегда.

Но ведь упорядоченный капитализм придет через «сто», «двести», «триста», «тысячу» лет. Как же сейчас? Что делать перед лицом торжествующего «печенегства»? Мы здесь можем на этот вопрос ответить только самым кратким образом. Пусть читатель вспомнит три главнейших пьесы Чехова: «Дядю Ваню», «Три сестры», «Вишневый сад». Пусть он вспомнит, что во всех этих пьесах господствует авторская ремарка: «с к в о з ь с л е з ы». Чуть ли не все персонажи говорят «с к в о з ь с л е з ы». А что они говорят? Почти все они твердят одно и то же: «будем работать, надо работать, работать, работать». Как работать? Будем честно выполнять свою профессию! Будем честными ветеринарами, врачами, офицерами, агрономами, и т. д. и т. д. Будем работать и плакать, так как мы в плену у гнусной действительности, и будем мечтать, что через «двести», «триста лет» и т. д. люди будут счастливы... в упорядоченном капиталистическом обществе. И если какая-нибудь Ирина скажет: я не хочу «труда без поэзии, без мыслей...», то Чехов грустно заметит ей, что есть выход: это выход в искусство ¹, в красоту жизни, в науку... Ведь ушла же в певицы от печенегов Марья Викторовна Должикова-Полознева.

Очень часто гнусная действительность рождает романтизм, не мирящийся с нею: романтизм справа зовет назад, романтизм слева — вперед. Изнемогая в тисках «азиатчины», Чехов временами спасался в «романтизм справа»: вот почему он, увидевший — по-гоголевски, — что Русь — это Русь Собакевичей и Коробочек, вдруг — по-тургеневски — находил в ней Лиз и Елен... Правда, про одну из

¹ Этот момент сблизил Чехова с так называемыми «модернистами» 90-х годов. В «Чайке» Чехов ясно показал, что его симпатии не на стороне реалиста-народника Тригорина, а на стороне Треплева, декадента-символиста. И вообще импрессионистский неореализм Чехова многими точками соприкасается с модернизмом.

таких «чуждых женщин» он устами Астрова сказал: «у нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие. Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою», тем не менее нельзя отрицать, что наш художник питает чувство большой симпатии, например, к Раневской из «Вишневого сада», которая, наверное, начала свою жизнь подлинной «Ливой», а кончила — «порочно». Но от Жмухина и Цыбукина, если не знать дороги к рабочему классу, можно убежать и... к Раневской. Этот «романтизм справа» у Чехова очень смутил г. Чуковского, который совсем не понял его корней и смысла, и наговорил много глупостей насчет любви Чехова к иррациональному.

При таком отношении к действительности на этом этапе развития Чехова ему нечего было сказать мужику! Ведь не мог же он звать его ни к Раневской, ни к красоте, ни к науке... Он только констатировал его «невежество»...

Под самый конец жизни у Чехова создалось уже значительно иное настроение. Мы скажем о нем цитатой из воспоминаний С. Я. Елпатьевского: «И расспрашивал он не о литераторах и не о свежих литературных новостях, которыми всегда преимущественно интересовался, а о том, что говорилось и чувствовалось на пироговском съезде врачей, о том, что делается в союзе «Освобождение» (из которого потом образовалась партия кадетов. *Ив. Т.*), какое настроение в передовых общественных кругах Москвы и Петербурга, когда и как ждут падения старого строя... И когда сам он рассказывал, не то и не так говорил, как говорил раньше... Не так читал газеты, как раньше, и другое искал в них — не проявления скуки, хмурости и сумеречности русской жизни, а факты подъема и роста оппозитионного настроения в России. И про «мужиков» не попрежнему говорил».

Все, что мы знаем про Чехова, заставляет нас быть уверенным, что С. Я. Елпатьевский ничего не спутал. Не о рабочих, а о «передовых общественных кругах»; не о РСДРП, а об «освобождении»; не о революционном движении, а об «оппозиционном настроении» должен был говорить и думать Чехов¹. Для нас важно то, что он почувствовал, что «падение старого строя» —

¹ Еще раз приведем слова Чехова: «Ни исправника, ни марксистов». Читатель теперь понимает, что в этих словах перед нами абсолютно законченная, совершенно точно сформулированная либеральная программа. В ней — весь Чехов.

залог пришествия упорядоченного капитализма в более короткие сроки. Что же он говорил о «мужиках»? Елпатьевский не передает, но мы имеем другое свидетельство. Г. Б. Иллос рассказывает: «Проезжая через деревню (речь идет о пребывании Чехова за границей перед смертью в 1904 году), он любовался крестьянскими чистыми домами и вздыхал: «Когда же у нас так мужики будут жить?» — Не больше.

Вот все, чего он желал мужику жить в условиях европейских форм эксплуатации. И здесь он жестоко ошибся. Луки, Осипы, Пантелеи, Яковы пошли за людьми, рисовавшими им иные перспективы...

Из. Теодорович.